

Толстой Алексей Николаевич

Союз пяти: рассказы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
А47

А47 **Алексей Николаевич Т.**
Союз пяти: рассказы / Толстой Алексей Николаевич – М.: Книга по Требованию, 2025. – 197 с.

ISBN 978-5-519-77041-5

Содержание: "О читателе" (в виде предисловия), "Гидра", "Союз пяти", "Убийство Антуана Риво", "Рукопись, найденная под кроватью", "Черная пятница"

ISBN 978-5-519-77041-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Я вспоминаю какое место, лет десять тому назад, в литературной жизни занимал читатель.

Читатель, это был тот, кто покупает книги и читает.

Читатель, это бульон, в котором можно развести любую культуру литературных микробов.

Читатель — стадо, которое с октября в столице начинают обрабатывать литературным сезоном.

Веселое время — петербургский сезон.

Начинался он спорами за единственную, подлинную художественность того или иного литературного направления.

Страсти разгорались. Критика пожирала без остатка очередного, попавшего впросак, писателя. К рождеству обычно рождался новый гений. Вокруг него поднимался вихрь, ссоры, свалка, летела шерсть клоками.

Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочки беллетриста. Щелкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями. Заливали очи ядовитым чернилом.

В грозовой атмосфере модные писатели писали шедевры, швыряли их в общую свалку. Каждый хотел написать неслыханное, по-особенному.

Шумели ротационные машины. Торговали книжные лавки. Девушки бросались с четвертых этажей, начитавшись модных романов. Молодые люди принципиально переходили к однополрой любви. Выпивалось море вина и крепкого чая. Публика ломилась в рестораны, где можно было поглядеть на писателей. Колесом шел литературный сезон.

Иные, желая прославиться, мазали лицо углем, одевались чучелой и в публичном месте ругали публику сволочью. Это тоже называлось литературой.

Читатель веселился, на писателя поплевывал. Писатель веселился, на читателя поплевывал.

Разумеется, не в этом же одном была литература. Серьезная литература сердито огораживалась от шума заветными бровями Льва Толстого. Художники силились проникнуть за вековую стену, — из жизни праздной и призрачной — в подлинное бытие России.

Но тут обнаруживался кризис читателя. Он был загадкой... «Он», разумеется, был не тот, кто ходил в рестораны смотреть, как писатели едят столовое стекло. «Он» был и не тот уже, кто, как священные тексты, читал толстые журналы.

Думаю, не было бы ошибкой сказать, что последний из писателей — Чехов знал, презрительно любил и носил в себе своего читателя:

«...Когда этот либерал, пообедав без скюртука, шел к себе в спальню и я увидел на его спине помочи, то так было понятно, что этот либерал — обыватель, безнадёжный мешанин»...

После революции 1905 года лицо читателя сделалось совсем зыбким, расплывчатым. Приходится его начисто выдумывать.

Так, Леонид Андреев придумал себе читателя — крайне нервное, мистически-мрачно настроенное существо с увеличенными зрачками. Он, Андреев, шептал ему на ухо страхи и страсти.

Так, Иван Бунин представлял себе русского читателя брезгливым, разочарованным скептиком (из разорившихся помещиков), злобно ненавидящим расейские грязи и будни.

Писатели помельче недолго держались за суровые брови Льва Толстого. Все шумнее становился город, сильнее заманивал пленительными туманами, все выше огораживался от жизни стенами Фата Морганы.

Махнули рукой: все равно ничего за стенами не увидишь, Лев Толстой написал Каратаева, на этом и успокоимся — там, за стеной, все Каратаевы.

Сразу стало легко. В конце концов, не Каратаевы же книжки читают.

— Извозчик, скажи-ка, братец мой, читал ты Метерлинка?

— Чего?

Какой же это читатель! Народники и те на нем зубы сломали. А вот, барышня спрашивает, — жить ей или кислотой отравиться?

Вот это читатель! Тут вопросы поставлены остро.

«Милая барышня, расточайте, расточайте жизнь, она пуста».

Шумел, гремел литературный сезон. А у черты уже стояли война и революция, глядели в лицо кровавыми огненными глазами.

Восьмой год Республики. Налицо молодые писатели, критики, издательства, журналы. По крайней мере, десять литературных школ. Залежи небывалого материала для искусства, не залежи, а Гималаи.

А все же — литературный кризис. Рынок требует нового романа, театр новой пьесы. Их нет, они в зачатке. Но зато сколько споров: в чьих руках должна быть литература, — у левого фронта, у романтиков, у неореалистов, у бытовиков?..

Но я еще ни разу ни от кого не услышал ни слова о новом читателе. Новый неведомый читатель восьмого года Республики.

А он стоит у черты, глядит в лицо молодыми, смеющимися, жадными глазами.

Литература еще однопола. Второй полюс еще не восстановлен. Дуга магнитных токов еще не потекла от искусства к сердцу народа.

Не все ли равно, — левый фронт или бытовой, романтики или реалисты... Там разберут.

Подшло — взяли, и ток ответный. А школы и направления, — все это кабинетная, однополая мозгология.

Как можно возродить, примерно, романтизм, когда никто не хочет запахиваться в плащ на скале.

Но если чувствую, нахожу и создаю в себе этого идеального, насыщенного соками жизни, читателя, и он кричит мне из-под романтической шляпы: «Дашь грозу и бурю!». О, тогда ни споров, ни ссор... Могучим потоком хлынет творческая энергия.

Новый читатель, это — тот, кто почувствовал себя хозяином Земли и Города.

Тот, кто за последнее десятилетие прожил десять жизней.

Это тот, у кого воля и смелость жить.

Это тот, кто разрушил старые устои и ищет новых, в которых душа бы его сталастройной.

Это тот, кого обманула старая культура.

Это тот, кто не знает еще никакой культуры.

Этот новый, разнородный, но спаянный одной годиной Революции, оптимизмом возрождения из пепла, уверенностью в грядущем, этот новый читатель, который не покупает книг, потому что у него нет денег,— должен появиться стомиллионно-головым призраком в новой литературе, в тайнике каждого писателя и, возникнув сказать:

«Ты хочешь перекинуть ко мне волшебную дугу искусства,—пиши:

честно,

ясно,

просто,

величаво.

Искусство, это моя радость».

ГИДРА.

— Место наше глухое, нелюдимое, где тут человеку жить. — Иван Степанович плюнул на червяка и закинул удочку. Едва текли струи зеркальной реки, не колыхалась лодка, стоймя торчал камышевый поплавок. Иван Степанович смирно глядел на воду. Некуда торопиться рыбаку, — сиди под соломенной шляпой, шурься на влажный свет, дожидайся, когда нырнет поплавочек.

— Нелюдимые, глухие наши места, — опять сказал Иван Степанович, — одна слава, что город. Непонятно — в каком веке живем: не то в семнадцатом, не то еще в каком-нибудь. До железной дороги семьдесят верст проселками. У нас даже и бандитов нет. Забрался один в прошлом году, вихрястый, — такая взяла его тоска: «Вы, говорит, не люди, а мох», — плюнул, ушел назад проселками. Одна отрада — рыбы много. Я, вот, извините, фельдшер, человек сознательный, но и то растерялся, — такая у нас глушь, чепуха. Почитаешь газету: что ж это такое пишут, где такие люди живут? В Москве, за Крымским мостом, железную башню построили — и с нее разговаривают кругом земного шара... Этот бандит-то в прошлом году рассказывал: залезет, говорит, на башню телеграфист и начинает

обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию кроет матом... Сперва, говорит, мировая буржуазия никак не могла понять, что за слова? Позвали спецов. Те говорят: это матерное, это из Москвы вас кроют.

Поплавок мигнул и опять повис в зеркальной воде. У Ивана Степановича позеленели глаза, — насто-рожился.

— Рыбы много, а сытая. Какая ей наживка пужна — чума ее знает. Ну вот я и говорю, — городишко наш затхлый, на краю земли живем, не проникнет сюда луч сознания. Бандит этот вихрястый на базаре говорил, будто теперь вводится новый натуральный налог на нас обывателей: каждый человек должен представить в местный исполком по сто двадцати воробьев битых и по два зайца с души. Поди, не представ. А ружья, порох — у населения отобрали, чем хочешь тем и бей. Спасибо дьякон догадался: мышьяком говорит, травите воробьев. За осень столько этих птиц извели, куры сталидохнуть. Эх, Москва, Москва!

Поплавок опять сильно дернуло. Иван Степанович подсек и вытянул пустой крючок.

— Видишь — червячка-то и съели. Непременно это шилишпер. Наглая рыба, а гордиться бы ему и не с чего: костистый да постный.

— Нет, рыбу ловить хлебнешь горя. А скажите — правду рассказывают: под Царицыном упал камень шестнадцать верст длиной, побил неисчислимо народу, неисчислимо сожгло хлебов? Ну, конечно, газеты этот случай скрывают, запрещено. У нас теперь — все предрассудки. А разве от народа скроешь, что камень упал. И еще один камень должен упасть, — этот будет много больше, и упадет он около Варшавы, побьет невидимое количество поляков. Так-то. А председатель уездного исполкома по поводу этих раз-

говоров объявил у нас борьбу с предрассудками. Повесили на базаре полотнище, на нем нечистый с коровьим хвостом. Дьякон наш до того испугался, забился на ледник, за кадушки, пьяный, конечно, застудился, потерял голос... Эх Москва, Москва!

Иван Степанович насадил на крючок майского жука. И опять между небом и землей повис камышевый поплавок. Трепеща, села на него стрекоза, сорвалась и улетела. Зпоен был полдень на реке. Опрокинувшись, дремали зеленые берега. Иногда со дна реки поднимались пузыри, расходились водяной пленкой.

— Расскажу я вам необыкновенный случай, — продолжал Иван Степанович и соломенная шляпа его укоризненно колыхнулась. — Неоднократно пытался опубликовать его в печати, в местной газете. В первый раз, — принес им, — в газету, — угостили чаем, «рады, говорят, пробуждению сил на местах». Благодарили. А в другой раз пришел за ответом, — обступили и давай смеяться, вся редакция, — сапогами притоптывают, — «дурак, дурак».

— А через неделю вызвали куда следует и — допрос. «С точки, мол, зрения Дарвина оказываетесь вы захребетник рабоче-крестьянской России вроде хироманта». А я — какой я хиромант захребетник, — сами видите. Эхе-хе!

Иван Степанович полез в карман парусинового, до крайности ветхого, балахона, вынул трубочку, закурил, и — пошел дымок сизою струйкой в безветренном зное. Лишь слышно было, как пела пчела, перелетая на тот берег, на медовые кашки.

— История эта случилась за тем мысом, — Иван Степанович кивнул шляпой на опрокинувшийся в речке, вдали, глинистый обрыв с двумя корявыми соснами, — там в реке — омут, яма, место это проклятое, называется оно Черный Яр, водятся в нем древние жуки,

которой по двести, которой по триста лет. Щука, сами знаете, рыба бессмертная. Под Москвой, в прудах, поймали щуку, вся обросла мохом, — и в жабре у нее вдето кольцо с пометкой, что пущена щука в пруды царем Борисом. Ну, хорошо. Революция принесла, как говорится, раскрепощение предрассудков. Но рыбу в Черном Яру, все-таки у нас теперь не ловят. Боятся. Днем проплываешь мимо Яра и то волосы дыбом встают. А на ночь пойти с блесной или верши поставить, — нет, ни за деньги, ни за вино, голову оторвите, — не пойду. Вот, для примера: дьякон наш — не тот, который голос потерял, а другой, Громов, чай слышали: он в девятнадцатом году сорвал с себя сан, пошел по гражданской части, шайку себе подобрал из дезертиров, сидели они в лесу, грабили. Потом баловство это бросил. Так вот стал он хвастать: «В кого, мол, я верю? — в одну электрификацию верю, а в утопленника в Черном Яру — не верю». Пошел на спор ночью с удочками на Черный Яр, пьяный. А на угро лежит дьякон под сосной весь побитый, испаряпанный, одежда изодрана, сапоги сняты, и денег у него, — двадцать миллионов были в кисете, в портках, — денег этих у него нет. Сам он без памяти, только помнит, что били его и терзали. Ну, хорошо.

— Вот какая случилась история. Был у нас портной, Федор Константинович, — хороший портной, но запойный, сами можете представить. Бывало — сидит, как турок, в окошке, шьет, голова кудластая, ноготь на ноге синий, здоровенный, торчит у него, — угрюмый был человек, работающий. Месяца по два головы не поднимал, — шьет, утюжит, — разве только выскочит на крыльцо по личному делу, или вцепится в голову и давай скрести волосы, — чешется. За эти два месяца накопится у него на сердце злость, угрюмство, скука, и посылает он девочку от шабров, в казенную лавку

за полбутылкой. Хорошо если заметят, что он за этой первой полбутылкой послал, — тогда идут к нему и слезно просят отдать назад сукно, или недошитое, — и он зубами скрипит, но отдает. А уж на третий день пьянства начинает рубить заказы топором, озорничает, и с тем топором выбегает за ворота, дожидается, — кого бы ему посечь. Благочинный наш так и распорядился, — когда у Федора Константиновича перевалит запой на третьи сутки — бить в малый колокол у Богородицы на Кулижках, — бить унывно, оповещать, чтобы по улице мимо портного не ходили.

— С неделю, или с две почудит портной и начинает просить молока. Садится на крылечке и пьет, прямо из крынки.

— Молоком отопьется, берет он удочки и выезжает в лодке на Черный Яр. (Наловит плотвы целое ведерко, — рыба его очень любила, — и закидывает живда на щуку.) В сумерки, на реке, подопрет щеку, закрутит головой и принимается петь на тонкий голос, — душу надрывает.

— Благочинный говорил ему сколько раз:

— «Федор, возьми себе бабу, оженись».

— Боже ты мой! — только помяни ему о бабе, вдруг он почернеет, зубы сожмет, и ноготь у него на ноге — торчком, как клык.

— «Нет такой бабы, ответит, пет для меня такой бабы, прекращаю разговор». Думал он о них излишне много, — закрутит нос, молчит, только нитки свистят. Жестоким был человек. А бабы у нас, как ягоды, — румяные, смешливые, страсть хороши бабы. Только и смотрят — слукавить. Эх, бабы, девки! Ни одна, бывало, не пройдет мимо окошка Федора Константиновича, — оглянется, ха ха, хи хи, — в рукав носом — фырк, и — шмыг в проулок. Вот тебе и шитье. А замуж ни одна не шла.

— Бабы его и довели до беды. Ловили мы с ним живцов у Черного Яра. День был майский, но жаркий. Река — синяя, так бы и упал в нее. Федор Константинович, смотрю, нет-нет да заслонится с боков ладошками и глядит в воду. Что, думаю, высматривает он там? Подъезжаю тихонько на лодке.

— «В воду все глядите, Федор Константинович?»

— Он, вдруг, как застучит зубами, — борода черная, клочками, зубы, как у людоеда. Отвернулся, стал насаживать на крючок и не может надеть червяка, оглядываться стал. Вижу — совсем растерялся. Я от греха отплыл подальше, а он — опять за свое, — в воду глядеть. Знаете, что он в реке высмотрел?

— Вот через это мне в редакции местной газеты и кричат: дурак, дурак, а в политическом отделе обозвали хиромантом.

— Выплыла из омута, из-под коряги, под самую лодку Федора Константиновича здоровенная русалка, — девка, только ноги у нее до колен рыбы. Верьте — не верьте, дело ваше. Жарко ей окаянной, и она — рас-солосодела, в мыслях у нее одно баловство.

— Федор Константинович сидит — вымучил глаза. Кровь ему в голову и ударила. И стал он ее подманивать, подсвистывать, червяков ей бросал.

— Она плавает, поворачивается под лодкой, трется о днище. Красивая девка, крепкая. Нос морщит, пузыри пускает, дразнится. Он ей пальчиком, — «подь, подь сюда», — норовит за волосы ее схватить. Она в глаза глядит из-под воды, не дается. Провозился он с ней до вечера. А на ночь насадил на крючок окуня, закинул в омут и сел на берегу ждать.

«Сижу, — говорит, — и бьет меня лихорадка, в глазах красные круги ходят. В полночь вызвездило. И ходят круги, ходят звезды, — земля и небо кружатся. Духота. Медом пахнет. Сыро. Мочи нет».